

Бурлацкий Федор Михайлович (1927–2014), советский и российский политолог, основатель политологии как научной дисциплины в СССР (заявил о необходимости ее учреждения еще в январе 1965 г.). Возглавлял группу советников в международном отделе ЦК КПСС во времена Хрущёва. В 1964 г. ушел в отставку в связи с приходом Брежнева. Был заместителем директора Института социологических исследований, депутатом Верховного Совета РСФСР, где занимался проблемами новых законов о правах человека и другими вопросами. Почти десять лет работал в «Литературной газете» политическим обозревателем, а затем, в пору перестройки, когда она считалась вместе с «Огоньком» ведущим носителем гласности в стране, – ее главным редактором. Более десяти лет руководил Комиссией по правам человека, Лигой защиты культуры. Был приглашенным профессором многих зарубежных университетов: Гарвардского, Колумбийского, Гейдельбергского, Оксфордского. Автор более 25 книг. Книга «Хрущёв и первая русская весна глазами его советника» была издана в Лондоне, Нью-Йорке, Берлине и ряде других городов мира. За книгу о Макиавелли, переведенную на итальянский язык, удостоен золотой медали Сената Италии. По числу сносок долгое время входил в тройку и пятерку самых цитируемых политологов России.

Бурлацкий: Я познакомился с Борисом Викторовичем Раушенбахом в 1987 году. Мы тогда создали комиссию по правам человека, в которую вошли многие выдающиеся люди. Писатели (такие как Дудинцев, Адамович, Черниченко), руководители крупных газет, ученые, среди которых были профессионалы юристы и люди из сферы естественных наук. Последних было очень мало. Даже не могу вспомнить, кто входил еще, кроме Раушенбаха, из числа академиков представлявших точные науки. Он принимал участие в наших заседаниях, в особенности в наших встречах с зарубежными правозащитными организациями. Мне помнится его присутствие на важной встрече комиссии с представителями Хельсинской группы во главе с доктором князем {с немецкой фамилией} из Австрии. Борис Викторович производил впечатление, прежде всего, человека, который не хочет выделяться. Он ни когда сам не брал слова. Как говорится, вперед не лез, несмотря на то, что авторитет его был очень высок и в Академии наук и в комиссии. Имя звучное. Но когда к нему обращались, он неизменно высказывал свое суждение и суждение это было не банальное. Я не помню, чтобы он когда-то повторял какие-то общие места относительно прав человека. Он не вел никогда идеологических полемик, но что тогда меня несколько удивило – он не отдавал предпочтение западному обществу перед советским. Для меня это было необычно, потому что сам я считал, что Европа, Америка опередили нас во многих отношениях – в техническом, социальном и так далее. Я был, если можно так сказать, «западник». В нем этого западничества я не чувствовал, но не было и такой «квасной» гордости за Советский Союз, за социализм, за наши достижения в той или иной сфере. Были спокойные суждения о том, что мы находимся где-то на одном уровне культурного, в особенности научного и образовательного развития.

Надо сказать, что я встречал такую же позицию во время своих встреч с Андреем Дмитриевичем Сахаровым 1980-м году. Я редактировал его брошюру. Это была первая его работа в гуманитарной сфере по поводу мирного сосуществования, где он говорил, что социализм и капитализм сыграли вничью – «фифти-фифти». Я не возражал. Говорил, что может быть в применении к военной технике это правильно, но в других сферах, особенно по уровню жизни, мы очень отстаем.

Нечто подобное, мне помнится, есть и в высказываниях Бориса Викторовича. Я думаю, что это был своеобразный саентизм, когда на первое место ставятся или сопоставляются научные достижения, а ни у него, ни у Сахарова, ни у Королева не было, я думаю, никаких комплексов связанных с состязаниями в этой сфере. А в чем-то они чувствовали себя сильнее. Скажем, как теоретики. Вот это то, что у меня осталось, как впечатление того периода.

Надо сказать, что и применительно к проблеме прав человека Борис Викторович тоже занимал, я бы сказал, какую-то снисходительную позицию по отношению к нашему государству. Меня это немножко удивляло, потому что мы все были зажжены стремлением выправить тот колоссальный ущерб нанесенный советскими репрессиями против диссидентского движения в брежневские времена, психушки, незащищенность людей в целом от правосудия, милиции и так далее. Борис Викторович, я тогда уже знал, имел в молодости какие-то неприятности (правда, не знал точно какие), и сам он где-то сживал. Может быть, поэтому ему казалось, что это не так уж страшно и когда он слышал требования европейцев, очень острые критические замечания по правам человека у нас, он ни в какую идеологическую полемику не вступал, а говорил, что об этом надо говорить спокойно, разбираться в каждом вопросе конкретно. То что можно делать – надо делать, но без шума и истерик.

Бернгардт: А как вообще строилась работа комиссии. Наверное, секретариат вырабатывал какие-то решения, а члены комиссии их обсуждали и принимали?

Бурлацкий: Эта комиссия была в Комитете за европейскую безопасность, поэтому она в особенности усердно занималась переговорами с представителями Запада. На ее основе, мы потом создали организацию совместно с госпожой Картер, женой президента Картера, которая называлась «Конференция по правам человека». Провели несколько международных встреч, главным образом за рубежом. Больше всего в Гааге, потому что секретарем Конференции (я был президентом) был голландец Эрнст Ван Эйкен. Он организовывал встречи, финансировал их и так далее.

Я не помню, чтобы Раушенбах выезжал с нами за рубеж, но он участвовал во встречах с международными представителями здесь в Москве. Мне помнится, например, приезд госпожи Картер и жены Жискара Де Стена. Встречи, приемы и беседы в гостинице в Плотниковом переулке где они размещались, в которых участвовал Борис Викторович. Что касается заседаний, то по текущим вопросам мы его редко беспокоили.

Бернгардт: Я так полагаю, главная роль его заключалась в придании веса комиссии?

Бурлацкий: Да. Но, конечно, не как свадебный генерал – у нас было много видных людей, – а как одна из видных фигур и один из самых умных участников.

Это был первый период, когда мы работали вместе. У нас сложились очень хорошие личные отношения. Всегда очень охотно откликался на любые приглашения, был чрезвычайно ответственным. Не было случая, что бы он не явился, если был приглашен.

Бернгардт: Не было ли у вас каких-то разговоров на отвлеченные темы? Вы, я знаю, автор книги о Китае, а ведь Борис Викторович хорошо знал китайскую литературу.

Бурлацкий: Я не припоминаю таких разговоров, хотя помню его комплимент по поводу этой книги.

Бернгардт: В связи с правозащитными делами вопрос о советских немцах никогда не возникал? Может быть в частных беседах?

Бурлацкий: Нет. У нас не было случая и не помню, что бы он сам поднимал этот вопрос.

Вторично мы с ним работали вместе в Международной Лиге защиты культуры. Там сейчас президентом (?) Антонов-Авсеенко, потому что я подал в отставку. Меня избрали президентом Фонда международного культурного сотрудничества и стало трудно совмещать эти две работы – я еще вхожу в пару научных советов, преподаю и так далее. Нас одновременно, это было года 4 назад избирали в руководство этой Международной Лиги. Меня Президентом, а его Почетным. Но несмотря на то что он был Почетным Президентом, он активно участвовал во многих мероприятиях. Прежде всего – в конференциях по разным проблемам. В частности, его интересовали вопросы образования в нашей стране. На этих конференциях он высоко оценивал достижения образования в нашей стране даже в прежние времена, что отрицали другие, и подчеркивал, что уровень нашего образования, особенно в естественных науках, был выше, чем во многих западных странах.

Его очень беспокоили разрушительные процессы, которые шли в период руководства страной Борисом Ельциным в особенности в сфере образования, науки и культуры. И он, хотя и резко, но твердо говорил об этом.

Когда он был избран на этот пост, он подписывал очень много документов – вместе со мной, отдельно. В общем, он активно работал. Я знаю, что ему импонировали многие идеи Рериха, идеи гуманитарного характера. Но в рамках этой организации есть и сторонники рериховских идей индуистской направленности, ведической философии, и я никогда не слышал от него, чтобы он поддерживал, пропагандировал эти идеи. Его больше привлекала светская, так сказать, общекультурная международная сторона учения Рериха.

Держался он всегда очень скромно. У нас были активистки, которые очень любили выступать и когда давали какие-то интервью, мы оба держались так, чтобы давать им возможность показать себя. Он вообще был поразительно не претенциозный человек, не амбициозный. Я потом прочел у него, что он никогда не стремился быть начальством, избегал этого. И это сказывалось в стиле его работы в рамках нашей Лиги и во время общения с прессой, с телевидением.

Бернгардт: Федор Михайлович, если я не ошибаюсь в Верховном Совете Вы руководили подкомитетом...

Бурлацкий: Я руководил подкомитетом по гуманитарному, научному и культурному сотрудничеству в рамках Комитета по международным делам.

Бернгардт: Насколько я знаю, Вы принимали участие в разработке и принятии Закона «О свободе совести»?

Бурлацкий: Я и наш подкомитет непосредственно отвечал за два закона: Закон «О свободе совести и вероисповедании» и Закон «О свободе выезда и въезда», и кроме того, я, как член комиссии, участвовал в подготовке Закона «О средствах массовой информации». А Борис Викторович выступал у нас в качестве консультанта по вопросу о религиозных свободах. У нас было мало специалистов, собрались одни атеисты, а мы знали, что Борис Викторович глубоко верующий человек, связан с Московской Патриархией и поэтому мы советовались с ним. Я направлял ему проекты этого закона и он высказывал свои предложения. Предложения в основном были направлены на предоставление полной свободы вероисповеданий... Он же православный был?

Бернгардт: Он принял Православие году в 98-ом, а крещен был в Реформатской Церкви – по линии отца.

Бурлацкий: Реформатской?.. Веротерпимость – это было то, на чем он настаивал и это было крайне важно. Равенство перед Законом всех конфессий. Надо сказать, что представители Православной Церкви, которые участвовали в подготовке этого закона (на сессии Верховного Совета СССР по этому вопросу выступал Алексий II), вольно или не вольно тяготели к тому, что бы выставить Православие как основную религию. Ни кто не говорил о привилегиях, но поскольку они все время говорили о Православии, о Православной Церкви, о испытаниях тяжких, которые выпали на ее долю, о восстановлении храмов Православной Церкви о предоставлении юридических прав Православной Церкви, то складывалось впечатление, что их меньше заботит место и роль других конфессий. И Борису Викторовичу и мне приходилось на наших заседаниях все время возвращаться к вопросу о том, что Закон должен предоставить равные права всем конфессиям и что нам не нужна государственная религия, как это было при царях. Я, признаться, не знал к какой конфессии он относится, но я хорошо помню, что мы вместе отстаивали одну точку зрения и я даже выступил против Алексия II на сессии Верховного Совета СССР, когда обсуждался проект Закона, и подчеркнул сознательно этот момент. Поскольку опять в своем выступлении Алексий II говорил почти исключительно о Православии.

По-моему он сам мне говорил, что был крещен в Православие уже в зрелом возрасте. А что это была за инициатива, его собственная? Его супруга была православной?

Бернгардт: По крайней мере, по происхождению. Сам Борис Викторович в одном из интервью объяснял факт перехода в Православие отсутствием здесь реформатского прихода. Я думаю, что его мог волновать вопрос: «А кто же меня отпевать будет в случае смерти? Священника-то нет.» А поскольку он много занимался Православием, оно подходило ему больше всего.

Бурлацкий: В этой книге мое внимание привлекли несколько сюжетов. Прежде всего, это его размышления – готовился ли Сталин к войне? Мы с ним здесь полностью сходимся в критике Виктора Суворова, его книг «Ледокол», «День-М». Борис Викторович высказался очень четко: «Это редкостный дурак и лгун.»

Бернгардт: Текст интервью не передает даже малой толики того, насколько он был взбешен.

Бурлацкий: Я тоже был просто вне себя, когда прочел эту пасквильную книгу, рассчитанную исключительно на сенсацию, частично отражавшую настроение некоторых, так называемых демократов, которые ставили на одну доску Сталина и Гитлера, социализм и фашизм. Старались доказать, что за развязывание 2-й мировой войны несет ответственность не только Германия, но и Советский Союз, который пошел на пакт Молотова–Риббентропа и тем самым открыл Гитлеру дорогу на Запад, а потом и на Восток. То, что будто бы Сталин собирался уже в 41-ом году напасть на Германию, абсолютно не отвечает действительности. Никаких документов на сей счет нет. Разыскали какой-то черновой набросок какого-то **генерал**, который, конечно, не ставил вопрос о нападении, а просто говорил об активной обороне. И то этот набросок нигде не рассматривался – в Генеральном штабе, или тем более на политическом уровне.

Но что меня в этом ответе Бориса Викторовича привлекло – это его утверждение о том, что Сталин готовился к войне и рассчитывал, что мы неизбежно вступим в эту войну, но не в 41-м, а в 43-м или в 44-м году. И это приоткрывает некоторую завесу над тайной Сталинского поведения в первые дни войны. Как известно, Сталин был растерян, заперся у себя на даче в паническом состоянии. Говорил, что мы «угробили (на самом деле там было другое, блатное слово) Берлин». Считал, что мы обречены на поражение, потому что у него засело в сознании, что война нас затронет еще только через несколько лет. Он думал, что обманул Гитлера. Так что не знаю откуда взял Борис Викторович эту информацию. Тогда, видимо, в рамках оборонного комплекса это обсуждалось.

Бернгардт: Возможно, из собственного опыта, ведь он занимался крылатыми ракетами. Проект закрыли и это требовало какого-то объяснения. Наверное, ему были известны и другие долгосрочные (требовавшие на доработку более трех лет) проекты, которые были свернуты.

Бурлацкий: Да, но здесь есть и другая сторона его высказывания. Так сказать, немножко странная. Сталин вроде бы хотел вступить в войну для того, что бы освободить Германию, после того, как она потерпит поражение от объединенных сил в лице Соединенных Штатов Америки. Возможно были тогда в рамках оборонного комплекса такого рода разговоры. Не думаю, что были какие-то четкие планы – хорошо разработанные, продуманные и так далее. Это немножко напоминает мне тактику Мао Дзэ Дуна. Обезьяна сидит на горе и смотрит на схватку двух тигров, а потом пользуется результатом. Я не исключаю, что такие мысли где-то в закрытых оборонных аудиториях высказывались.

Бернгардт: Прошу прощения, что перебиваю. Тут вот такая закавыка. Он сказал, что решение о свертывании всех проектов требующих для своего завершения более трех лет было принято году в 40-м. Но уже после нашей беседы я увидел его интервью 95-го года газете «Тагильский рабочий», в котором он говорит, что это было «где-то в 1938-1939 годах». 38 плюс 3 – получается 41-й год. Но я не стал его снова об этом спрашивать, зачем? Он свое мнение уже высказал.

Бурлацкий: Это очень острый вопрос в истории и политике. Здесь собственно два вопроса. Почему страна оказалась не подготовленной к нападению Германии и, второе, были или не были какие-то планы активного участия в войне на стороне союзников против Германии. Но все эти вопросы по сути являются бесконечными...

Бернгардт: Совершенно верно, просто для российских немцев этот вопрос имеет некое прикладное значение – нельзя же всю жизнь жить с комплексом вины. Тем более, в определенном смысле, не своей.

Бурлацкий: Конечно.

Бернгардт: Поэтому постоянно возникают разные разговоры. Что же было на самом деле? Так или эдак.

Бурлацкий: Второй сюжет привлекший мое внимание – из его работы «Мрачные мысли», в которой он рассуждает о последних событиях. Борис Викторович никогда не стеснялся высказываться просто, ясно, четко и недвусмысленно. И в этом случае он говорит относительно реформ, главным образом периода «славного» десятилетия Бориса Николаевича, в очень четкой манере. Причем это не журналистская критика, не персонификация даже критики, а разбор крупных идей, которые лежат в основе всего этого периода, их сравнения с теми идеями, которые были в Советском Союзе и в России раньше. Многие его мысли представляют большой интерес и, я думаю, будут еще комментироваться учеными и публицистами.

Я здесь хочу остановиться на его рассуждениях о вакууме крупных идей, которые захватывают воображение нации, народа. Он правильно говорит об энтузиазме индустриализации. Многие этого не понимают. Мы все антисталинисты – мы на этом выросли. Но сталинизм мог состояться потому, что он как раз повернул народ к созиданию. К созиданию после революции, после разрушений. 30-е годы были годами бурного созидательного процесса, достигаемого, конечно, из под палки, но и энтузиазмом. Строительство во всех сферах, в том числе в сфере науки, в сфере обороны, в ракетостроении, создании своего ядерного оружия и так далее. А этот период – пустой. Он правильно говорит, сделать общей идеологией просто зарабатывание денег, обогащение – бессмыслица. Ни одна нация, даже американцы, которые ближе других стоят к такому подходу, не сосредотачивались на этом как на цели.

И другая идея – это чудовищное неравенство, которое сложилось в этот период. Меня глубоко возмущает, когда небольшая группа людей присвоила все национальные богатства. Незаконным образом, большей частью – криминальным, основанном на коррупции государственного аппарата.

Я не вполне разделяю его пессимизм относительно будущего нашей страны, западного общества, который он высказывает. Я называю себя идеологическим оптимистом. И как многие люди моего поколения верю в поступательный прогресс. Поэтому я думаю, что этот период будет преодолен. Конечно, теперь уже с колоссальными трудами многих людей. И тем более я не могу разделить пессимизм в отношении человечества в целом. Хотя основания, конечно, какие-то у него есть, но все-таки симптомов заката человечества я не вижу. Это вопрос спорный. В сущности, здесь тоже своего рода высокого уровня саентизм. Тех великих научных открытий, участником которых он был, сейчас нет. И надо понимать, он не видит их в будущем. Не видит и каких-то крупных социальных изменений, которые могли бы захватить воображение народов и всех людей на Земле, потому что сама проблема благосостояния ему кажется преходящей. Она сравнительно достижима, как показал опыт Запада. Я думаю, что у нас эта проблема тоже будет решена лет через 40–50. Люди будут жить достаточно благополучно.

Бернгардт: По поведению-то он, я бы сказал, – биологический оптимист.

Бурлацкий: Да. Он мне страшно imponировал всегда своим жизнелюбием и в особенности своим чувством юмора. Он относился к тем редким людям, которые сами иронизировали над собой. Очень любил смеяться, любил шутки, сам шутил. «Физики шутят» – в большой степени относилось и к нему.

Мне запомнился один разговор с ним, который произошел перед последней операцией. Я ему позвонил и хотел согласовать какой-то вопрос связанный с работой Лиги защиты культуры, с его участием. И он мне сказал фразу, которую я не помню дословно, но звучала так: «Я ложусь на операцию и есть много шансов, что я не вернусь. Хотя я все еще рассчитываю это сделать.» То есть он сказал об этом очень легко, как о вещи нормальной, обыденной. Даже не было печали, трагизма в его голосе. Он сообщил это как факт: вернусь – буду участвовать, не вернусь – значит не буду.

Бернгардт: Когда Вы в разговоре вдруг слышите имя Раушенбаха, какой образ возникает у Вас в сознании?

Бурлацкий: Вы знаете, меня всегда поражала его фамилия. Дело не в том, что это немецкая фамилия, дело в том, что в ней есть какая-то набатная музыка. Раушенбах!

Бернгардт: Раушенбах – журчащий ручей.

Бурлацкий: Журчащий ручей, да? Раушен-бах! Сама-то фамилия вызывала в сознании очень значительную личность. Мне не так часто приходилось встречаться с представителями наших немцев и первое, что возникало – это нечто крупное, значимое. И я в сознании своем никак не мог примириться с тем, что он не большого роста, живой, непретенциозный, как я уже говорил, очень простой в общении. На заседаниях совершенно индифферентно относился, кто там в президиуме будет сидеть – он будет сидеть, не он будет сидеть. Кто председательствует, кто будет давать интервью – его совершенно не занимало. Я думал, что это связано с возрастом, но прочтя Вашу книгу понял, что это просто суть этого человека.

Я был близко знаком с Яковом Борисовичем Зельдовичем. Мы общались семьями, вместе играли в теннис, он представил меня Андрею Дмитриевичу Сахарову. И, в сущности, третья личность того же уровня – это Борис Викторович. Три титана. Может это звучит на грани сурьезности, но это действительно три титана мысли.

Если сравнить эти три фигуры, не с точки зрения вклада, который они внесли в науку. Я не могу даже сопоставлять, это профессиональный вопрос. Андрей Дмитриевич создавал водородную бомбу, Яков Борисович большую роль сыграл при создании атомной бомбы, Раушенбах сыграл одну из главных ролей при создании ракет, первого корабля на котором полетел Гагарин. Это все равно великие достижения человеческого ума. Но вот с точки зрения стиля выступления, поведения, они резко отличаются друг от друга.

Зельдович Яков Борисович. Всегда говорил как компьютерная машина. По любому вопросу было свое устоявшееся мнение. И он выстреливал его как автомат. Шла ли речь о научной проблеме, о политической проблеме, о спорте или о сексе – четкая формула. Сама манера была резкая, законченная, очень уверенная в себе.

Сахаров говорил не складно, медленно, как бы извлекая из глубины мысли, поэтому говорил очень не спеша, искал слова, которые надо расставить на свои места.

А Борис Викторович говорил живо, весело, без претензий на то, что высказывается какое-то необыкновенное суждение. У Сахарова и Зельдовича была эта претензия на некое величие, законченность этого суждения – так и только так. А у него, хотя он немец, казалось бы должна быть тяжеловесность стиля немецкого (я много читал и Гегеля, и Оффенбаха, и, в особенности, Канта). Мы знаем этот стиль. Тоже претензия на законченность, создание системы мысли. Ничего подобного у Бориса Викторовича не было. Все суждения, которые высказывал Борис Викторович, высказывались легко, изящно и предполагали возможность альтернативного мнения. Он, так сказать, внутренне был очень демократичен, допускал, что может быть другое суждение, что может быть прав собеседник. И это шло, я хочу это подчеркнуть, не от какой-то неуверенности – мысли его всегда были очень четкими – а из широты, понимания, что он не единственный умный, талантливый или гениальный человек, что могут быть и другие. Мне так всегда казалось.

Вообще он был очень обаятельный человек. Редко о ком можно это сказать из людей такого уровня. Потому что... Особенно русские люди. Можно сказать, что мы очень много о себе понимаем, то есть (улыбается) высоко себя ставим. И в общении это бросается в глаза. Вот, например, Несмеянов. Я работал с Несмеяновым Александром Николаевичем на заре своей жизни. Чрезвычайно интересный человек. Высокий юмор (?) Говорил немножко отвлеченно. Но была внутренняя претензия на величие.

Ничего подобного не было у Бориса Викторовича. В нем сказывался очень живой темперамент. Не знаю с кем сравнить его из немецких ученых, я мало общался с ними.

Бернгардт: В первой книге этой серии, «Штрихи к судьбе народа», один из героев – Давид Ригерт.

Бурлацкий: Я знаю его, штангист. Даже видел его «живьем» на состязаниях. Очень интересный человек.

Бернгардт: Они очень схожи с Борисом Викторовичем своим чувством юмора. И в той книге я на его примере говорю о том, что юмор – это национальная черта российских немцев.

Бурлацкий: Российских немцев? Ну да. Столько испытаний пришлось пережить, что вынести все это можно было только с большим чувством юмора.

Бернгардт: Ригерт сказал, что те, у кого был «кислый характер», не перенесли естественный отбор.

Федор Михайлович, такой «хулиганский» вопрос. Вы много лет работали в литературной газете, были ее главным редактором. Как Вы думаете, что хотят сказать люди, когда они говорят о немцах, о том же Раушенбахе, старательно подчеркивают, что это «обрусевший» немец. Я, например, никогда не слышал «обрусевший еврей» или «обрусевший армянин», хотя по мере ассимиляции все находятся примерно на одном уровне.

Бурлацкий: Да, на похоронах мне резануло слух, что в нескольких выступлениях подчеркнуто прозвучало: «Хотя он был немцем, он был настоящим русским патриотом».

Бернгардт: Само выражение «обрусевший немец». Это что, как бы некое «обеление»?

Бурлацкий: Да, это просто малокультурные люди говорят. С неким русофильским комплексом. А в других случаях, это может быть отрывка военных настроений – у лиц старшего поколения. Потому что Вы помните призыв, он звучал и у Эренбурга, и у Симонова: «Убей немца!» Не «Убей фашиста!», а «Убей немца!» И даже Сталин поправлял Эренбурга. Но больше это идет от бескультурья. Говорят (смеется) как комплимент, что если обрусел, значит он хороший, а если не обрусел, то грош ему цена! Это ужасная неграмотность, потому что Раушенбах здесь в книге правильно говорит, огромная часть нашей элиты, политической, научной, военной во времена царей была из немцев. А кто нас вообще учил культуре? А кто нас учил поначалу русскому языку. Ломоносов очень возмущался этим, потому что немцев было большинство в академии наук. Я здесь прочел, меня это очень поразило, что где-то перед революцией заседания Академии происходили на немецком языке. Это наши учителя были в сфере культуры, образования, науки, особенно в философии. И (смеется) кончилось это плохо, между прочим. Мы подхватили марксизм и самое крайнее его течение, скажем так, еврейско-немецкое. Но там правда был и Фридрих Энгельс, чистый немец, и много других немцев.

В общем, это, конечно, идет от неграмотности и такого «квасного» патриотизма. Знаете, я с очень большим уважением отношусь к той работе, которую Вы делаете. Я убежден, что очень скоро немцы, говоря фигурально, вернуться в Россию. Главный наш партнер в Европе (я писал об этом в книге «Русские государи», которая вышла еще в 95-ом году) – это Германия. По ряду причин. И потому что обе из сторон заинтересованы в интеграции экономической (они заинтересованы в нашей нефти, газе, других сырьевых материалах, мы заинтересованы в технологиях и так далее), и потому что за этим стоят исторические корни. Немцы были нашими учителями на протяжении веков и ориентация на Америку была ложной. Америка – так далека от нас, и она так не похожа на нас, и мы никогда не были в лоне американской культуры, какой бы она не была – лучше или хуже. Сама религия очень далека от нашей. Весь этот плюрализм, это пуританство, с которого там все начиналось, свободолобие. У нас всего этого не было и в Германии тоже этого не было. Россия и Германия – это довольно цельные массивы духовности и религиозности.

Я был недавно полтора месяца в Кельне в институте Европейской интеграции, участвовал в двух конференциях. Уверен, что ближайшие годы будут годами бурного роста российско-германского сотрудничества. Я считаю, что опыт Германии, в том числе, опыт реформ, нам очень близок. Там был фашизм, у нас был коммунизм, но Германии (смеется), говоря непублично повезло, она потерпела поражение. Вся система была взорвана, вся номенклатура – иллюминирована, идеология – похоронена. А у нас реформами занимается та же номенклатура, которая быстро вдруг стала демократической. Так смешно наблюдать руководителей всех государств СНГ (это касается прежде всего времен Бориса Николаевича), когда они собираются – это просто заседание Политбюро.

К несчастью у нас не было такого человека, как Людвиг Эрхардт. Сказалась культура преобразовательного духа Германии. У нас же все дико, на авось, поспешно, резко. Путин сейчас как раз тем и импонирует, что он немножко (смеется) «заражен» немецким духом. Не только потому, что он знает немецкий язык. По натуре он человек рациональный, в отличие от большинства русских, взвешенный, свободен от страстей и он (улыбается) любит «орднунг». В силу

этих вещей тоже может быть какая-то новая ступень в отношениях. Я думаю, что тогда и наши, так называемые, «русские немцы» тоже займут свое место.

В отличие от эмигрантов других национальностей, в особенности уехавших в Америку, которые настроены очень антирусски, немцы уехавшие в Германию, мне кажется, не настроены враждебно по отношению к России. Это правильно?

Бернгардт: Во всяком случае, у меня сложилось впечатление, что немцы, уезжающие в Германию, гораздо больше переживают о бедах России, чем русские здесь остающиеся.

Бурлацкий: А много немцев в Москве? Здесь вообще есть община?

Бернгардт: Когда в конце 80-х создавали московское общество, говорили примерно о четырех с половиной тысячах.

Бурлацкий: Вообще политикам надо подумать, как использовать наших немцев в качестве, так сказать, моста для сотрудничества с Германией.

Бернгардт: К счастью, пока политики думают, позитивные процессы уже идут сами собой. Среди миллиона наших немцев переехавших в Германии достаточно много людей со здоровыми амбициями. В силу объективных причин им трудно вписаться в уже сложившийся деловой мир Германии. И практически единственный способ занять в нем достойное место – это развитие делового сотрудничества с пост-советскими государствами. Как пример могу привести моего друга Эдуарда Вульфа, бывшего гендиректора «Базстроя». Переселившись в «фатерланд» он стал представителем Правительства Свердловской области в Германии. Это внушает оптимизм, ведь каждый российский немец, где бы он ни проживал, знает, что немцы в России были, есть и будут заложниками российско-германских отношений...

Бурлацкий: Я еще хотел сказать два слова о Вере Михайловне. Я мало с ней общался, больше по телефону, но у меня сложилось впечатление, что это очень интересный человек и она была не только подругой героя, которая, так сказать, слепо идет за ним и служит ему опорой. Она была и есть – самостоятельная личность и в Вашей книге это очень бросается в глаза. И когда он говорит о ее авторитарности, он как раз имеет ввиду самостоятельность ее суждений, мнений по разным вопросам, которые и дополняют Бориса Викторовича, и имеют самостоятельное значение. Мне кажется, ему очень повезло в этом отношении. У него был единственный брак и брак удачный. И может быть как раз легкость его характера объяснялась наличием такого друга и прочного тыла. Незаурядный человек со своей биографией, фундаментальная опора семьи.

Эта книга остается у меня? Спасибо. Есть люди, с которыми время от времени надо сверять свои мысли и чувства.